

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Выпьешь?
Выпили.
— Ты о чем? — задал вопрос Винкентич.
— А ты о чем? — отозвался вопросом Семенич.

В МОЛОДОСТИ, в двадцатые годы, холостяком, я никогда не встречал Нового год в одном месте. В двенадцать ночи я чокался за домашним столом, потом отправлялся к друзьям, потом вместе с ними к другим друзьям, потом к третьим — веселился, хохоча, по старой узкой булыжной Москве, по пушкостому снегу, обнимаясь со встречными — неужто это так и ушло навсегда? И тот легкий снежок, и узкие переулки, и смех, и вся та Москва, которую я так любил и которую надменные петроградцы называли большой деревней?

Так вот: от третьих друзей мы пускались к четвертым, и так как уже всходило зимнее желтое круглое солнце и уже не хватало ни сил, ни друзей, то там, у четвертых, и укладывались на полу, на кушетках, на сдвинутых стульях. И часто, проснувшись первого января, я спрашивал себя: где я? Каким магаром меня сюда занесло? И так как это невозможно (да и нужно ли было) понять, то опять засыпал.

Так было в молодости, а потом я надолго стал литератором, и Новый год настал мне и в степи, и на море, в городах и долинах, в аулах и деревнях. Со знаменитыми и незаметными, дорогими мне и случайными. Все это стерлось, вытекло — хлещет жизнь.

И все же одна встреча Нового года застряла в уме. В канун тридцатого года я был послан редакцией на коллективизацию. В Заволжье, далеко за Самару. «Сельсовет» долго чесал затылок, исследуя мой мандат, а потом определил меня на постой на околицу, в раздранную избенку, к мелкому ростом, молчаливому и взъерошенному мужичонке-вдопчу. Жила мы с ним неразговорчиво. Немногословно. Однако без ссор.

ПРОЧЕМ, встречались редко: я был в газетных заботах, да и у него было, видать, немало хлопот. Шла сплошная коллективизация. Собрание за собранием, прокуреныя, пропахшие валенками и овчиной, в дыму, до глубокой ночи, при свете керосиновых ламп.

Коллективизация двигалась туго, до триумфального рапорта было далеко, и вот как раз в предновогодний вечер состоялась особенно штормовая сходка крестьян. С криками, бабьим воєм, руганьем, поношениями и даже драками, возникавшими вдруг тут и там.

На это собрание прибыл уполномоченный из области: в кожаной куртке, с контрольными цифрами в портфеле и с наганом на бедре. В который раз обсуждался в копоти ламп вопрос о колхозе. Уполномоченный обещал близкий рай, однако сулил всем, кто не хочет вступать, анафему и кары рабочего класса. Называл кулаками и подкулачниками. Женщины завывали в ответ, а мужики вскакивали, что-то выкрикивали и снова садились. Было жарко, потно, овчинно, махорочно и не очень понятно, почему всем так не хочется в рай.

И вдруг я увидел, как мой хозяин-молчун прополз на встрадку (дело было в сельском нарядом) и стал говорить. Он говорил, что не получатся толку, если в одном хозяйстве будет прорва хозяев, что пусть бы клоп папши, да свой, что не след отбирать у народа коров, лошадей, хлеб и селян, что пойдет недород и что тут-то хвоятся, да уж поздно; и что зря отрягают уполномоченных — они хоть с наганами, но ни хрена не маракуют и только пугают людей. «Отыми у них револьверты, тогда поглядим, какие они!»

Все это, сбиваясь, невнятно и бормоча, сказал мой взъерошенный, все то, что говорилось не раз и не два, всюду, куда ни глянь, но мой лохмач говорил хотя путанно, но с таким отчаяньем сердца, что грянули аплодисменты. А уполномоченный, тот, что с наганом, вросшим в бедро, бросил ему: — Ну, брат, да ты подкулачник!.. Как же вы его проморгали? — грозно спросил он у сельсовета.

Собрание кончилось. Разошлись по домам. Потачились и мы с моим недомытми. Было очень морозно, снег посыпывал под подошвами. Пришли, повежали картошку, улеглись — хозяин на печке, а я на лавке. Заснул.

Проснулся от неясного бормотания. Хозяин в рубаше, в исподнем, босой, стоял на коленях перед иконой с тлеющим светом лампадки и шепотом быстрым, отчаянным, осторожным молил Господа Бога заслонить его от беда. И говорил Богу все, что твердил на собрании. Что он не против колхозов, пущай, но как жить, если все не свое? Если нет своего ни в душе, ни в доме — нигде? Что он хочет жить так, как жил. Пусть глупо, да как умеет. И чтобы без резолюций. Чтобы не лезли в душу — мозги у каждого свои. Нехай вслюухие, да мои.

И еще он молился о том, что какой же он подкулачник, если всю жизнь ишачил и жена ишачила и на том померла; что он за Советскую власть, пуская, а высказался за единоличие потому, что так понятнее человеку. Ясней, где свое, где чужое.

И чтобы Бог защитил его от тюрьмы.

— Ой, беда, господи! Ой, беда, беда!

И мне показалось, что теперь, когда он говорил не с собранием, а с иконой, у него получалось еще пронзительней и с такой тоской, что даже уполномоченный с его контрольными цифрами и наганом разжалобился бы. Простил бы его. И даже, возможно, поцеловал бы, если это не противоречит партуставу.

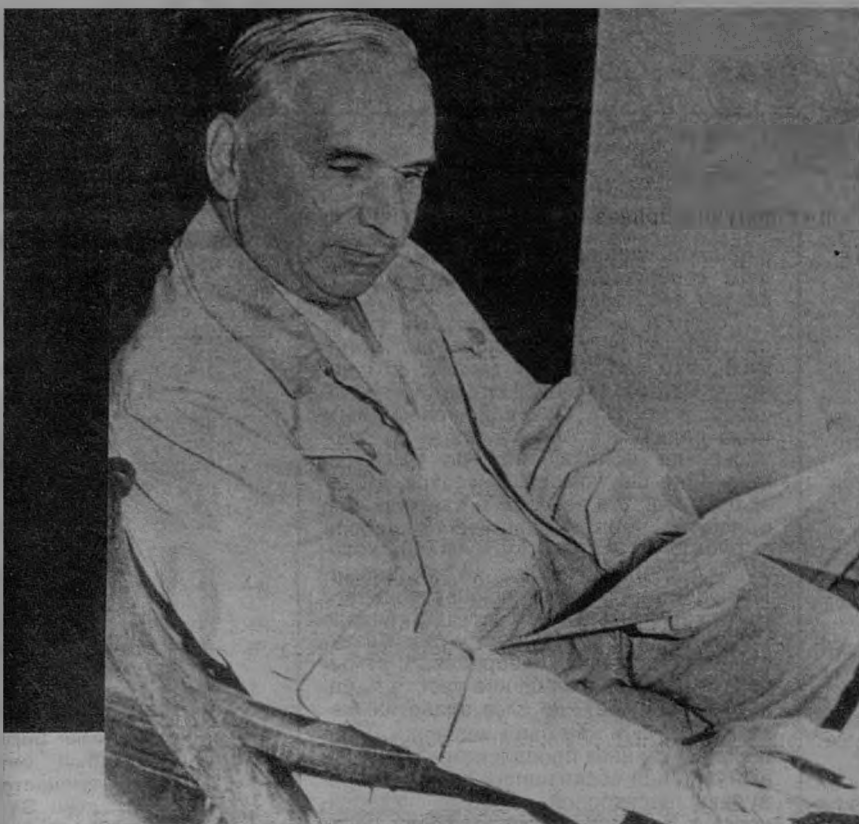
— Ой, беда, беда, беда!

Я вглянулся на часы. Была полночь. Так встретил я Новый — тысяча девятьсот тридцатый год. Начиналось десятилетие Великого Перелома, завершеное тридцать седьмым и тридцать восьмым.

А потом я снова заснул, как некогда в молодости, невесть где, в незнакомом, случайном, мелькнувшем.

Вот вам и встреча Нового года!

Е И-БОГУ, я видел войну не хуже других, хотя, сознаю, было всего лишь корреспондентом. И видел ее, и писал о ней шаг за шагом — от Москвы до Берлина. Но только однажды увидел ее не как все. Где же? Когда? В атаках, взрывах, штабах, землянках, портянках, печурках? В бомбежках, на переправах? Нет. Я понял войну всю до дна, до самого полного, нестерпимого, всю ее лютость, ужас, невыносимость для человека только однажды, увидев в окопе глаза солдат перед тем, как должен был прозвучать сигнал к рукопашной атаке. В этих глазах была вся война, и если бы имелась на свете сила их задержать, заstopорить на лету и передать бумаге или экрану, то было бы только этих глаз, чтобы рассказать о войне достаточно полно, отчаянней, проникновенней, чем миллиарды строчек о боях, генералах, взрывах, штабах и крови.



Евг. ГАБРИЛОВИЧ

КЛОЧКИ

В этих глазах солдат жила вся война с затылка до живота — страх, прощание, дерзость, надежда, отчаяние, последнее солнце над головой, последний промельк всего, что было, прошло и что останется жить без тебя, как это облако, эта побитая бойней трава, по которой надо в последний раз с криком «ура!» пробраться.

И молба ко всему, во что с детства учили не верить: молитва, чтобы не убили.

Все было в этих глазах. Все, кроме храбрости. Так, повидав столько разного и ужасного на войне, я в первый раз увидел ее, какая она в человеке.

Об этом я написал. И послал в редакцию. Но не поместили. Чтобы не было пессимизма.

ПОМНЮ, как удивился, когда в тридцать пять лет, в девяносто тридцать пятом году, сосед по трамваю попросил меня: — Подвинься, отец!

ОТЕЦ! Неужели я так одряхлел, что меня уже называют отцом? Сегодня опять удивился, когда медсестра в больнице спросила меня по-утру: — Как здоровые, дедушка?

ДЕДУШКА! Неужто с тех тридцати пяти уже прометнулась жизнь? Вся жизнь! Невероятно!

ТАЛИНА я видел близко всего два раза: один раз в доме Горького на Спиридоньевке, другой раз в Кремлевском Дворце, на приеме писателей.

Примы там, во Дворце, происходили в Георгиевском зале. Стояли длинные столы, где ужидали писатели, а перпендикулярно к ним, отгорожено, короткий правительственный стол. Обычно оттуда, с правительственного, звучал первый тост, а отсюда ответные благодарности. Все это было с помпой, но ритуально, пламенно, но с уяснением того, как велика дистанция, отделяющая тех, кто источает восторг, с теми, кому он предназначен.

В тот вечер правительство, подтверждая черту трапезы и директивами, вышло из отгородки и смешалось с литературой. Пришел и Сталин, свойский, открытый, шутиливый, и я б даже сказал, простодушный в своем френче и сапогах. С восторгом фотографом курительной трубкой во рту. Сочинители обступили его, он шутил, все смеялись.

И подумать — случилось так, что я нежданно-негаданно оказался вплотную со Сталиным. Рядом с правым его сапогом. И вот что последовало в тот вечер в Георгиевском зале, среди настенных мраморных плит с золотыми фамилиями героев первой Отечественной войны. Один из именитых писателей (конечно, вы его знаете, однако при всей беспорядочности моей болтовни я все же скрою его фамилию, да и зачем она вам?) — так этот писатель, стремясь придать своей встрече с Вождем еще более близкий, сердечный, я бы даже сказал, родственный тон (а это было немаловажно перед лицом клубившихся тут же собравшихся), с заботой и бережливостью спросил: — Как ваше здоровье, Иосиф Виссарионович? Говорят, вы болели?

Сталин вдруг смолк. Срезал каную-то свою шутку. Оборвал смех. Помолчал. Вынул трубку изо рта. Опять помолчал. Потом поднял глаза на того, кто спрашивал у его самочувствия. И я увидел близко эти глаза. Мне повезло: не думаю, чтобы многие видели их так рядом, вплотную.

Да, это были глаза! Это я опять говорю на зарубку тому, кто бичует мое поколение за то, что оно сказал Сталин и отошел в загробную. Во френче и сапогах.

Мы замерли. Сочинители, что спрашивал, тоже застыли. И с год или два после этого не ведал покоя и допытывал всех — родных, друзей, знакомых, соратников по наградам и славе, в чем значение этих слов: «Заботился о своем здоровье? Где скрытый их шифр? Что предвещают они? Немилость, опалу, расправу? Арест? Лубянку? Лесоповалы, зоны, карцеры? Смерть?»

И каждый, кого он спрашивал, толковал сей рабус по-разному. Но никому не пришло на ум, что это, возможно, всего лишь действительная забота о самочувствии писателя, которого (внятно или невнятно) знает страна. Однако на всякий случай его перестали печатать.

Это я опять говорю на зарубку тому, кто бичует мое поколение за то, что оно не сказала стране всей правды.

Впрочем, этот оплошный писатель жил долго и помер своей смертью.

«Так сказал Маркс» — этой заповедью мы жили долгие годы. Но Маркс ничего не сказал об изменах жены, придирах начальства и колликах в печке. А это куда как важнее для каждого, нежели самая удавшаяся подвижка классовых сил в Южной Африке и Средней Европе. И гораздо острее всего, о чем транквируется в «Капитале». Вот эту-то ЧЕЛОВЕЧИНУ среди всеобщих политиканских склок и истин, именно это и только это и следовало мне, современнику, разобрать. Тут было мое назначение, но я даже не прикоснулся к нему.

По многим причинам. Но все-таки, видимо, потому, что это несусветно сложное склок и общественных схваток.

Всю жизнь мне казалось, что там, НАВЕРХУ, в заоблачной высоте, знают, предвидят и понимают зорче, отчетливей, дальновидней, чем я.

Но вот просвистела жизнь, и стало кристально понятно, что ТАМ знают, предвидят, слышат и думают куда как насхек, путливей, мутней и кашеобразней, чем мы тут, внизу.

Расчухай я это, и как-то немного уютней мне стало внизу. Не вовсе, но все же.

ЦЕННОСТЕЙ

ШЛА ВОЙНА, шла глубокая осень, фронт был тут, рядом, возле Москвы. И я (корреспондент) решил смотаться на ночь в столицу, отпраздновать там Октябрь. Но накануне (шел 41-й год) вдруг получил приказ из редакции срочно дать очерк об Октябре в окопах, на передовых. «На самом переднем крае» — грозно объясняли в редакции. Пригорюнился, поздыхал и отправился поначалу в дивизию, потом в батальон. Там как раз готовилась смена в одном отдельно отрытом пулеметном гнезде. Вот я и пополз туда в канун Октября. Нас было трое. Один из нас — бывалый солдат, тертый, прожаренный, другой — веселенький, рыженький, новенький. «Только что шитый» — так звали таких на фронте. Третий — я. Приползли, свалились в пулеметные амбушеры. Два небритых, обросших пулеметчика, те, что сменились, встретили нас хмуровато — смена запаздывала, они пробыли тут, в этой яме, три последних дня.

— Наконец-то! — со злостью сказал один из них. — Вы что там, с бабами чиняетесь?

— С ними, друг, только с ними. — ответил бывалый.

Было тихо. Близились полночь.

— Ну как фронт? — бойко спросил только что шитый.

— Скоро ухаживать, — ответил сердитый.

— У них танков невпроворот, — добавил другой, видимо, подбодрее. И против танков лекарство есть, — вставил веселенький, — глянь инструкции!

Он показал печатный листок.

— Вот ты их инструкции и бей! — сказал сердитый.

— Ну будет трепаться. Коля, пошли! — обратился он к своему напарнику.

Евг. ГАБРИЛОВИЧ

И они поползли назад к окопам. А немец, услышав неясный шумок, стал кидать мины. Потом снова притих. Холод. Снежок. Безмолвие.

Казалось, все спит, была предоктябрьская ночь. Мы стали располагаться. А расположившись, начали тихие разговоры. Каждый рассказывал о себе, о своей семье, поспорили о начале, поругали союзников, расчленили интеллигентов. Я записал. Записал бойцов в профиль и фас, их возраст и вид, их суждения о войне, их ушанки, шинели, усы. Покуривание в рукава, шулки и говорки — в общем, все то, что так необходимо для очерка и в корне не совпадало с тем, чего ждет от тебя редакция.

Было по-прежнему тихо.

— Примило фронт, — отметил бывалый, — отдыхает!

— А почему же не отдохнуть? — сказал рыжий. — Мы — люди, и он — человек.

Шла ночь. И вдруг едва ли не в полночь рванул с немецких высоток артиллерийский удар.

— Что он, дураел? — беспокойно спросил тот, что был без году на фронте, — совсем без понятия?

— Да ведь начальство приказывает, — ответил напарник, откладывая консервы, — все, брат, на свете вразброд: наш начальник одно приказывает, а ихний — другое.

Так до утра и шла канонада. Стрелял и наш пулемет. Отложили банку с консервами, а с ней настало Октябрьского праздника. Стреляли. Возлоило солнце. Все снова затихло. Стояла молочная белизна. Пошли консервы. Вздвинули. Потом снова стреляли. Весь день.

И не заметили, как прошел праздник Великого Октября.

КАКОТО РАЗ я попал в санатория для выздоравливающих Руководителей. Возле Звенигорода, на Москве-реке. Но попал я туда не по чину, а с условием, что расскажу на лекции выздоравливающим о своей киноработе над образом Владимира Ильича.

Вообще-то я боюсь лекций. Тем более о Владимире Ильиче: мало правды знаю о нем, что действительно был соавтором трех ленинских фильмов. Дело в том, что мы с режиссером С. И. Ютневичем, наткнувшись на секретность, закрытость всего, чем являлся ПОДЛИННЫЙ ЛЕНИН, решили писать о нем, как чувствуем и понимаем, не сверяясь с принудительной достоверностью, во многом придуманной. Таков наш принцип в Лениниане, представляте себе.

И этот принцип и попыткам подковыкать Выздоравливающих, пришедших на кинолекцию в санаторий для Руководящих Лиц, а их пришло много, зал был переполнен. Опасно руководящий да к тому же и выздоравливающий — самый вездельный слушатель.

Я сначала было решил, что следует обойти рискованный пункт достоверности, но как всегда, меня захлестнуло, я взлетел и, увлекшись, признал, что в работах над сценариями об Ильиче мне до тех пор не удавалось поймать магистральную нить, пока я не ухватил, что Ленин — это я. Что все, о чем думаю он, — это я. Сомнения, надежды, уверенность, отчаяние — я. И как только я это внутренне осознал, работа пошла.

И воображите — едва я это вымолвил, как в зал вошел один из самых близких соратников Сталина. Правда, уже в отставке, изболбленный и выздоравливающий, но именно тот, кто когда-то всегда был рядом со Сталиным. И даже более рядом, нежели те, кто тоже был рядом, однако не так.

Он застыл в дверях, услышав мои слова о том, что Ленин есть я. Поперхнулся и я. Но, опомнившись, забормотал нечто сглаживающее, что-то подобное тому, что Ленин вроде бы я, но это, конечно, какущееся, признак, мирак. На самом-то деле Ленин есть Ленин, а я есть я, кто обречен путаться и обиваться в том, что Ильич давным-давно махом, навеки раздвинул.

На этом дело и кончилось, последствия не возникли. И только потом, за обедом, сосед, вошедший в зал вместе с Соратником, рассказывал, что тот спросил обо мне: — Кто этот болван? Надо бы разобраться! На мое счастье, директива эта так и повисла в воздухе: тот, кто был даже более рядом, чем те, которые тоже были плечом к плечу, подзабыл, что он уже не Соратник, а всего-то ставший выздоравливающим, и значит, его указания имеют не больше веса, чем думование ветерка.

Ветерок, зная себя, сильно бил в то лето, а я, как видите, уцелел. Но зарубил на носу, что в нашей стране, сколь бы ни повораживались события, надо на веки веков быть осмотрительней в своих всплесках. Особенно в Доме Руководящих. Особенно, когда они выздоравливают.

Внук пяти лет: — Дед, а ты скоро померешь?

Внук: — Скоро...

Внук: — А я?

Дед: — Ну, брат, для этого тебе еще надо пожить. Долго-предолго.

Внук: — А это больно?

Дед: — Больно, сынок. Однако не так, чтобы очень. Я вот жил и живу. Хотя знаю, что скоро померу.

Внук: — И не страшно?

Дед: — Что?

Внук: — Знать, что скоро?

Дед: — Страшно, сынок.

Внук: — Так ты помирай скорей! Чтобы не бояться.

Я ОЧЕНЬ много писал на своем веку. Жизнь таскала меня по свету, загоняла куда-суда, я видел гораздо больше того, что было в возможности видеть моим современникам. Конечно, не тем, кто на самом перку — это было мне не по рангу, но (как бы это точнее сказать?) посередке. Много знал, о многом догадывался. И как же ничтожно мало из всего, до чего добирался, какую-то горстку из всех этих глыб просверлил. Скорей всего потому, что слишком увлекся кино. Я благодарен экрану и убежден в значительности и даже (порой) величии сценарной работы, однако сейчас, под конец, скажу: писатель должен писать. На бумаге. Без посредников. Ничто не заменит ему самого себя — ни правительство, ни режиссер.

Не написал я, к примеру, и о Василии Гроссмане, хотя был обязан поведать о нем куда раньше, а не теперь. Ведь знал-то я его хорошо, а во время войны совсем хорошо — служил в одной военной газете, говорили друг с другом задушевно и горячо, а это бывало по тем временам не часто и не со всеми. И жил с ним три недели вместе, в квартире И. Г. Эренбурга в городе Куйбышев в дни, когда редакция была на время перебазирована туда. И толковали обо всем, о чем трудно не толковать, но полезней помалкивать: о ходе войны, о солдатах, России, добре и зле, двоедушии, рабстве, лакействе, мужестве, о Верховном командующем и дураках. О цене побед, о Марксе и Энгельсе. О подвижниках в литературе и мерзавцах в литературе.

И он, Гроссман, с его закруткой махры, с его небритостью, близорукостью, сапогами казался мне вровень мне, таким же, как я — ведь видел, думал, понимал мы одинаково и обобщали согласно. Словом, судачили так, как сейчас легко и свободно ораторствуют везде. И думалось, что мы одинаковы — одна солдатско-писательская судьба. Он не считал меня крупным — я безошибочно видел это во всем. Но все же таким, с кем можно поговорить.

Война прошла, мы расстались и хотя жили в одном городе, в одной и той же Москве, но многие годы не виделись.

Настали новые убеждения, и я прочел подряд два его романа, ранее изъятые глупо, на вечные времена.

И прочитал, не отрываясь, пораженный их силой и скальпелем. Мощью их зренья — от праха на сапогах до мельчайших изгибов раздумий и безысходности. От безмерности жизни до простейших знаков ее, таких, как любовь, стрельба, восторг перед звездами, потю, луну и набитым толпой вагоном. Я увидел расказ, проникновеннейший из всего, что читал о войне и времени. Позволю себе сказать: огромную книгу.

И удивился многому. Я поразился тому, что Гроссман усек в войне, жизни и людях то, что я проглядел, хотя толковали мы с ним ежечасно, казалось бы, обо всем. И продумал Гроссман о том, что мне даже и не вошло в мозг. Но главное, что сбилось меня, это то, сколько неведомого может ощущать настоящий писатель, оставшись наедине со своим псом. С глазу на глаз. Сколько неслыханного и безмерного, что не придет ни к одному из тех, кто коронован писателем. Только не мешайте ему, не путайтесь, продираться в это «с глазу на глаз».

Почему же я не увидел в нем это тогда, когда был рядом с ним? Подобно тому, как не видел крупнейшее во многих из тех, с кем stalkивал меня век? Может быть, потому, что поэт, склонившийся над бумагой, есть нечто совсем другое, чем тот же поэт, когда он ест, любит жену и пьет? Видимо (как это ни сенсационально), все-таки существует нечто такое, над чем мы охотно посмеиваемся — равнодушие.

А может быть, попросту потому, что я был близорук?

Вот вам и все, что я хотел бы сказать о Гроссмане.

Но, повторю, следовало это сказать не теперь, когда его уже нет, и у нас (как это повелось) пишут о нем диссертации, а гораздо раньше, когда он, гордость русской литературы, погибал в поношениях и клевете, забытый, несчастный, залупенный раком. Но редко когда прочтешь о бездолье художника, покуда он жив.

Зато, когда помер, — тут только листай!

Обо всем этом я так и не написал. Как, впрочем, еще о множестве многом.

СТАЛИНСКИХ временах, например. Но не о лагунках и леополодах — об этом сказано страшно и много, а о том, что в эти зверские годы я и такие, как я, жили как все, жили, как люди живут, спали, ели, женились, гуляли, хворали горлом и животами, любили, интриговали, смотрели кино и спектакли, пробивались на тепленькое, отталкивая других, лстыли, кадили, торопились к врачам, примитив отечность под глазом. Вот эта слитность каторжных зон, вони, этапов, швей, лютости, мертвых тел на снегу, лживости, беспощадности с постоянно текущим, светлым, неизменным, всегдашним, как вздох, как зевота, и есть та генеральная мысль, которую подарил нам всем Эпоха в награду за то, чтобы было мирно, безработно и покорно. И чтобы помалкивали.

Но молчал я не только постому. Молчал, потому что верил. Сперва не верил. И долго. Потом поверил.

И вот как раз об этом — о том, как под самый финал, под развязку, с седьмыми клочками волос на затылке, я опять усомнился, об этом и надо было в самых подробностях, пространно и обстоятельно написать, распробовать мозг и душу. Однако не написал.

Ничего я не написал!

Приближается смерть. Старее. Слабее. Чувствую это с каждым днем. Уже семено. Скупю слышу. Уже трудно надеть штаны, а снять их еще трудней. Задыхаюсь. Сморнаюсь. Отхаркиваюсь. Глупею. Мельчают слова и разум. Не имеют руки. Ужасно с памятью: не помню даже того, о чем думал вчера.

Этой ночью мне было и вовсе плохо. Сдавило дыхание, омертвели ноги. Смерть! — подумал я, похолодев. Туманно брезжила лампа, качались стены, хрипело дыхание, все стало стертым, последним — стол, одеяло, ночь. Все призрачно, на плаву — потуги встать, закричать. В башке обломки всего, что было давным-давно. Откуда они? Как уязво именно это после всего, что я перечувствовал в долгие годы? Обломки воспоминаний, неизвестно когда увязших и непонятно откуда явившихся.

Потом отлегло. Прибилось дыхание, стерся хрип, устоялись стены, утердилось все, что качалось. Пот на лбу стал теплеть. Потом совсем потеплел. Слышу! Чувствую! Вижу даже какое-то дерево за окном в глупом невнятном рассвете. И синий с прочерью снег. Могу даже думать! Живу. Живу! Продлен срок до следующей ночи.

Нестерпимо хочется жить! Видеть, двигаться, думать, спорить. Жить! Что за черт — ведь мне уже столько лет! Когда же наступит время — черт, тусклость и мокрый снег — когда легко будет помереть: надоест.

Нет, не надоест!

Господи, дай мне пожить хотя бы еще немного.

Так говорил Семенич.